

Сильвия Плат

СТИХИ



*Poems*



*Cmixu*

# Sylvia Plath

## **POEMS**

ZAKHAROV • MOSCOW • 2000

Сильвия Плат

**СТИХИ**

*В переводе Василия Бетаки*

ЗАХАРОВ • МОСКВА • 2000

## SOUTHERN SUNRISE

Color of lemon, mango, peach,  
These storybook villas  
Still dream behind  
Shutters, their balconies  
Fine as hand-  
Made lace, or a leaf-and-flower pen-sketch.

Tilting with the winds,  
On arrowy stems,  
Pineapple-barked,  
A green crescent of palms  
Sends up its forked  
Firework of fronds.

A quartz-clear dawn  
Inch by bright inch  
Gilds all our Avenue,  
And out of the blue drench  
Of Angels' Bay  
Rises the round red watermelon sun.

## ЮЖНЫЙ РАССВЕТ

Смешались краски персика, манго, лимона...  
Эти виллы — картинки из книжки —  
Дремлют за шторами, предутренне сонные,  
И как нарисованные карандашом,  
Или как кружево, связанное крючком —  
Ажурные их балконы. И —

Качая под ветром стрельчатыми стволами  
Разграфлёнными,  
как ананасы в колючих ромбах,  
Пальмы — полумесяцем по берегу бухты  
Взбрасывают фейерверк листьев огромных,  
Разлетающийся веерами. И —

Рассвет, прозрачнее кварца, шаг за ярчайшим шагом  
Нашу улицу золотит от конца до конца,  
И вот над Заливом Ангелов, над голубеющей влагой,  
Разрезанный арбуз солнца  
Вы-ка-ты-ва-ет-ся....

## PROSPECT

Among orange-tile rooftops  
and chimney pots  
the fen fog slips,  
gray as rats,

while on spotted branch  
of the sycamore  
two black rooks hunch  
and darkly glare,

watching for night,  
with absinthe eye  
cocked on the lone, late,  
passer-by.

## ПЕЙЗАЖ

Над черепицами  
рыжих крыш  
туман толпится  
серый, как крысы  
два грача  
на пятнистой ветке платана  
глазами желтыми  
полными тумана  
установились,  
ожидая ночи,  
на кого-то,  
бредущего  
в одиночестве...

## DEPARTURE

The figs on the fig tree in the yard are green;  
Green, also, the grapes on the green vine  
Shading the brickred porch tiles.  
The money's run out.

How nature, sensing this, compounds her bitters.  
Ungifted, ungrieved, our leavetaking.  
The sun shines on unripe corn.  
Cats play in the stalks.

Retrospect shall not soften such penury —  
Sun's brass, the moon's steely patinas,  
The leaden slag of the world —  
But always expose

The scraggy rock spit shielding the town's blue bay  
Against which the brunt of outer sea  
Beats, is brutal endlessly.  
Gull-fouled, a stone hut

Bares its low lintel to corroding weathers:  
Across the jut of ochreous rock  
Goats shamble, morose, rank-haired,  
To lick the sea-salt.

## ОТЪЕЗД

Ещё и фиги на дереве зелены,  
И виноградные гроздья и листья,  
И лоза, вьющаяся вдоль кирпичной стены,  
Да кончились деньги...

Беда никогда не приходит одна,  
Отъезд наш — бездарный и беспечальный.  
Кукуруза под солнцем тоже зелена,  
И между стеблями кошки играют.

Время пройдёт — не пройдёт ощущение нищеты:  
Луна — грошик, солнце — медяк,  
Оловянный мусор всемирной пустоты...  
Но всё это станет частицей меня...

Торчит осколком скала худая.  
От моря, бесконечно в неё ударяющего,  
Бухточку кое-как защищая...  
Засиженный чайками каменный сарайчик

Подставляет ржавчине порожек железный,  
Мрачные косматые козы лизут  
На краю охристой скалы над бездной  
Морскую соль...

## THE GREAT CARBUNCLE

We came over the moor-top  
Through air streaming and green-lit,  
Stone farms foundering in it,  
Valleys of grass altering  
In a light neither of dawn

Nor nightfall, our hands, faces  
Lucent as porcelain, the earth's  
Claim and weight gone out of them.  
Some such transfiguring moved  
The eight pilgrims towards its source—

Toward that great jewel: shown often,  
Never given; hidden, yet  
Simultaneously seen  
On moor-top, at sea-bottom,  
Knowable only by light

Other than noon, than moon, stars—  
The once-known way becoming  
Wholly other, and ourselves  
Estranged, changed, suspended where  
Angels are rumored, clearly

## ГРААЛЬ

Через вересковый холм перешли мы,  
Сквозь струящийся зеленью воздух.  
В нем каменные фермы утонули,  
И колышутся травяные долины.  
Этот свет — совсем не рассветный,

И совсем не послезакатный:  
Наши лица и руки озарил он  
Прозрачайшим отсветом фарфора,  
И земля ничего не желает —  
Вес исчез — как у всех, кто стремился,  
К истоку странного света,

Кто искал сокровище это,  
Что являлось рыцарям разным,  
Но в руки не далось ни разу:  
То видали его на вершине  
Холма, то глубоко в море,  
И повсюду одновременно...

Узнавали только по свету,  
Не похожему ни на свет солнца,  
Ни на свет луны или звёзд.  
И знакомый путь становился  
Незнакомым... И вот мы тоже —  
Отчуждённые, не такие...  
Там, где крылья ангелов слышно.

Floating, among the floating  
Tables and chairs. Gravity's  
Lost in the lift and drift of  
An easier element  
Than earth, and there is nothing

So fine we cannot do it.  
But nearing means distancing:  
At the common homecoming  
Light withdraws. Chairs, tables drop  
Down: the body weighs like stone.

И плывём мы среди плывущих  
Скамеек, столов... Тяготенье  
Растаяло в тихом дыханье  
Более легкой стихии,  
Чем всё земное. И нету

Ничего невозможного. Нету  
Ничего недоступного...Но —  
Приближенье и есть удаление!  
На банальной дороге домой  
Мебель падает, свет исчезает,  
И становится каменным тело.

# YADWIGHA, ON A RED COUCH, AMONG LILIES

(A Sestina for the Douanier)

Yadwigha, the literalists once wondered how you  
Came to be lying on this baroque couch  
Upholstered in red velvet, under the eye  
Of uncaged tigers and a tropical moon,  
Set in an intricate wilderness of green  
Heart-shaped leaves, like catalpa leaves, and lilies

Of monstrous size, like no well-bred lilies.  
It seems the consistent critics wanted you  
To choose between your world of jungle green  
And the fashionable monde of the red couch  
With its prim bric-a-brac, without a moon  
To turn you luminous, without the eye

Of tigers to be stilled by your dark eye  
And body whiter than its frill of lilies:  
They'd have had yellow silk screening the moon,  
Leaves and lilies flattened to paper behind you  
Or, at most, to a mille-fleurs tapestry. But the couch  
Stood stubborn in its jungle: red against green,

Red against fifty variants of green,  
The couch glared out at the prosaic eye.  
So Rousseau, to explain why the red couch  
Persisted in the picture with the lilies,  
Tigers, snakes, and the snakecharmer and you  
And birds of paradise, and the round moon,

# ЯДВИГА НА КРАСНОЙ КУШЕТКЕ СРЕДИ ЛИЛИЙ

(секстина таможеннику)

Ядвига, критики не знали отчего ты  
Вдруг оказалась тут на бархатной кушетке,  
Обитой красным, а вокруг горят глаза  
И тигров в чаше, и тропической луны  
В лесу, средь дикости всех мыслимых зеленых  
Трав, листьев сказочных и лунно-белых лилий,

Чудовищно больших, не прирученных, лилий.  
Наверно, критики хотели, чтобы ты  
Свой выбор сделала: то ль джунглей мир зеленых,  
То ль модный мир той красной бархатной кушетки,  
Где вычурные завитушки (без луны!);  
Чтоб там сияла ты — и вовсе не глаза

Злых тигров (укротили их твои глаза!) —  
А тело, что белее всех цветущих лилий.  
Хотели б критики, чтоб тут вместо луны  
Была бы занавеска желтая, а ты —  
На фоне зелени обоев... Но кушетка  
Стоит упорно в джунглях, красная в зелёных —

Средь полусотни листьев разных, но зеленых,  
Её сверканье дразнит скучные глаза...  
И вот Руссо, — (чтоб объяснить, зачем кушетка  
Стоит настойчиво среди гигантских лилий,  
Где тигры, змеи, заклинатель змей и ты,  
И птицы райские, и круглый лик луны) —

Described how you fell dreaming at full of moon  
On a red velvet couch within your green-  
Tessellated boudoir. Hearing flutes, you  
Dreamed yourself away in the moon's eye  
To a beryl jungle, and dreamed that bright moon-lilies  
Nodded their petaled heads around your couch.

And that, Rousseau told the critics, was why the couch  
Accompanied you. So they nodded at the couch  
    with the moon  
And the snakecharmer's song and the gigantic lilies,  
Marvelingly numbered the many shades of green.  
But to a friend, in private, Rousseau confessed his eye  
So possessed by the glowing red of the couch which you,

Yadwigha, pose on, that he put you on the couch  
To feed his eye with red: such red! under the moon,  
In the midst of all that green and those great lilies!

Им рассказал, что ты в сиянии луны  
Уснула на кушетке посреди зелёных  
Обоев будуара. В звуках скрипки ты  
Плыла... И видели во сне твои глаза  
Берилловые джунгли. Тени лунных лилий  
Качались — и меж них плыла твоя кушетка!

Вот так Руссо им объяснил, зачем кушетка  
Там оказалась. Ну, конечно, луч луны  
И заклинатель змей, цветы гигантских лилий —  
Всё может сниться! Но важней подсчет зеленых  
Оттенков!!! А друзьям сказал он, что глаза  
Так поразил тот красный, на котором ты

Позировала, что нужна была кушетка,  
Чтобы насытить красным взгляд, а свет луны —  
Чтоб зелень озарить и блеск огромных лилий.

## LORELEI

It is no night to drown in:  
A full moon, river lapsing  
Black beneath bland mirror-sheen,

The blue water-mists dropping  
Scrim after scrim like fishnets  
Though fishermen are sleeping,

The massive castle turrets  
Doubling themselves in a glass  
All stillness. Yet these shapes float

Up toward me, troubling the face  
Of quiet. From the nadir  
They rise, their limbs ponderous

With richness, hair heavier  
Than sculpted marble. They sing  
Of a world more full and clear

Than can be. Sisters, your song  
Bears a burden too weighty  
For the whorled ear's listening

Here, in a well-steered country,  
Under a balanced ruler.  
Deranging by harmony

## РЕЙНСКИЕ РУСАЛКИ

В такие ясные ночи не тонут:  
Полная луна висит над рекой,  
Туман прозрачный синий и сонный

Над прикрытой зеркалом чернотой —  
Словно падают в воду рыбацьи сети.  
Башни замка с холма любят себя:

В Рейне удваиваясь, башни эти  
Всплывают, движутся на меня,  
И вместе с ними в туманном свете

Русалки всплывают, глухо звеня  
Тяжелыми, медными волосами,  
Все ближе роскошные тела их видны,

Тяжелее, чем римских статуй камень,  
Они, поднимаются из глубины,  
Поют глубокими голосами

О мире гармонии и тишины...  
Сестры, ваша песнь не для этой гладкой,  
Не для этой благополучной страны,

Где все на месте и всё в порядке.  
Ваши голоса для них западня,  
Для тех,

Beyond the mundane order,  
Your voices lay siege. You lodge  
On the pitched reefs of nightmare,

Promising sure harborage;  
By day, descant from borders  
Of hebetude, from the ledge

Also of high windows. Worse  
Even than your maddening  
Song, your silence. At the source

Of your ice-hearted calling—  
Drunkenness of the great depths.  
O river, I see drifting

Deep in your flux of silver  
Those great goddesses of peace.  
Stone, stone, ferry me down there.

у кого ни на рубашке,  
ни в мозгах — ни складки...

Вы в тихую пристань зовёте меня!  
Отсюда, где из высоких окон тупое пенье  
Не замолкает до скончанья дня...

Тут ваше молчанье — зловещей тенью —  
Страшней, чем ваша песня сама!...  
«Глубины всегда несут опьяненье»

Ваш зов ледящий сводит с ума.  
О, Рейн, сквозь лунное, сквозь голубое  
Я вижу там, где подводная тьма,

Этих великих богинь покоя,  
Там глубоко в серебре твоём...  
Снеси меня, камень, туда с собою!

## IN MIDAS' COUNTRY

Meadows of gold dust. The silver  
Currents of the Connecticut fan  
And meander in bland pleatings under  
River-verge farms where rye-heads whiten.  
All's polished to a dull luster

In the sulfurous noon. We move  
With the languor of idols below  
The sky's great bell glass and briefly engrave  
Our limbs' image on a field of straw  
And goldenrod as on gold leaf.

It might be heaven, this static  
Plenitude: apples gold on the bough,  
Goldfinch, goldfish, golden tiger cat stock-  
Still in one gigantic tapestry—  
And lovers affable, dovelike.

But now the water-skiers race,  
Bracing their knees. On unseen towlines  
They cleave the river's greening patinas;  
The mirror quivers to smithereens.  
They stunt like clowns in the circus.

So we are hauled, though we would stop  
On this amber bank where grasses bleach.  
Already the farmer's after his crop,  
August gives over its Midas touch,  
Wind bares a flintier landscape.

## В ЦАРСТВЕ МИДАСА

В золотой пыли лужайки,  
Течёт Коннектикут гладкий,  
На излучинах водные складки,  
Фермы светлы, кричат чайки,  
Поля отполированы до блеска...

И плывём мы в желтый полдень —  
Словно лодку тянут волоком,  
Небо — как стеклянный колокол —  
А на соломенном поле —  
Наши тени тоже золотые.

Всё, всё — на золотом фоне:  
Удочка, и та золотая,  
Это — неподвижность рая:  
Яблоки золотые в кроне,  
И рыбка золотая, и щегол, и кот тигровый.

Это — ковёр, огромный, рыжий.  
Влюблённо, как голубки, воркуем...  
Но вдруг — пролетели на водных лыжах,  
На незримых нитях. Врезали реку и —  
Наше зеркало в осколки —

И вот мы не тут. И этот берег —  
Не янтарный. И фермер урожай собрал.  
И август, уже в прикосновенья не веря,  
Талант Мидаса потерял.  
И ветер оголяет жесткость пейзажа.

## CHILD'S PARK STONES

In sunless air, under pines

Green to the point of blackness, some

Founding father set these lobed, warped stones

To loom in the leaf-filtered gloom

Black as the charred knuckle-bones

Of a giant or extinct

Animal, come from another

Age, another planet surely. Flanked

By the orange and fuchsia bonfire

Of azaleas, sacrosanct

These stones guard a dark repose

And keep their shapes intact while sun

Alters shadows of rose and iris—

Long, short, long—in the lit garden

And kindles a day's-end blaze

Colored to dull the pigment

Of the azaleas, yet burnt out

Quick as they. To follow the light's tint

And intensity by midnight

By noon and throughout the brunt

## КАМНИ ЧАЙЛДС-ПАРКА

В бессолнечном уголке под соснами  
Эти камни, зеленые до черноты,  
Положил какой-то из отцов-основателей,  
    чтоб смутные проступили черты  
В сумраке, где тени ветвей черны и густы:

Камни — костяшки пальцев опаленные  
Ископаемых динозавров  
из иных времён, или они —  
Даже с иной планеты. И рыжие  
Костры фуксий и азалий их лизут.

Камни священные охраняют  
Этот мрачный покой. И форм не меняют,  
Пока солнце узорными тенями  
ирисов и роз играет:  
    то укорачивает их, то удлиняет,  
Или в светлом саду разжигает закатное пламя.

В этом пламени тускнеет даже яркость азалий,  
Но оно угасает — жизнь цветка и то длинней,  
И если ты в силах следить,  
    как в полдень или в полночь  
        под солнцем и под дождями  
        освещение меняется,

Of various weathers is

To know the still heart of the stones:

Stones that take the whole summer to lose

Their dream of the winter's cold; stones

Warming at core only as

Frost forms. No man's crowbar could

Uproot them: their beards are ever-

Green. Nor do they, once in a hundred

Years, go down to drink the river:

No thirst disturbs a stone's bed.

Ты сможешь понять недвижимое сердце камней.

Целое лето должно пролететь над камнями,  
Чтоб рассеялись сны их о снеге,  
Над камнями,  
сердцевина которых станет теплей  
Только тогда, когда мороз уже наступает.

Никаким ломом никто их не откопает,  
Их вечнозелёные бороды не шелохнутся веками,  
Даже раз в столетие они к воде не спускаются —  
Ведь никакая жажда потревожить не может  
В каменном спокойствии лежащий камень.

## POINT SHIRLEY

From Water-Tower Hill to the brick prison  
The shingle booms, bickering under  
The sea's collapse.  
Snowcakes break and welter. This year  
The gritted wave leaps  
The seawall and drops onto a bier  
Of quahog chips,  
Leaving a salty mash of ice to whiten

In my grandmother's sand yard. She is dead,  
Whose laundry snapped and froze here, who  
Kept house against  
What the sluttish, rutted sea could do.  
Squall waves once danced  
Ship timbers in through the cellar window;  
A thresh-tailed, lanced  
Shark littered in the geranium bed—

Such collusion of mulish elements  
She wore her broom straws to the nub.  
Twenty years out  
Of her hand, the house still hugs in each drab  
Stucco socket  
The purple egg-stones: from Great Head's knob  
To the filled-in Gut  
The sea in its cold gizzard ground those rounds.

## МЫС ШЕРЛИ

От кирпичной тюрьмы и до водокачки  
Прибой пересыпает гравий гремющий.  
Груды снега теснятся, как тучи.  
В этом году вода, перепрыгивая волнолом,  
Всяческий мусор тащит  
На кладбище щепок за прибрежным льдом.  
Наваливается море неряшливое  
На песчаный двор, на старый бабушкин дом.

Во дворе на песке грязная груда льда.  
Умерла та, чьё бельё хлопало тут на ветру,  
Как листы железа, та,  
Кто заботу о доме не выпускал из рук.  
Против своеволия моря она воевала всегда.  
Как-то на клумбу герани пляшущий шквал  
Пробитую гарпуном акулу закинул вдруг,  
И корабельный шпангоут через окно в подвал...

Весь этот сговор стихий упрямых  
Она сметала в кучу грозной метлой.  
Но вот уже двадцать лет,  
Как никто не защищает этот дом седой  
От прибоев и прочих бед.  
Но до сих пор не вымыло соленой водой  
Лиловые голыши, вмурованные её рукой  
В стены, в которых море выгрызло ямы.

Nobody wintering now behind  
The planked-up windows where she set  
Her wheat loaves  
And apple cakes to cool. What is it  
Survives, grieves  
So, over this battered, obstinate spit  
Of gravel? The waves'  
Spewed relics clicker masses in the wind,

Grey waves the stub-necked eiders ride.  
A labor of love, and that labor lost.  
Steadily the sea  
Eats at Point Shirley. She died blessed,  
And I come by  
Bones, bones only, pawed and tossed,  
A dog-faced sea.  
The sun sinks under Boston, bloody red.

I would get from these dry-papped stones  
The milk your love instilled in them.  
The black ducks dive.  
And though your graciousness might stream,  
And I contrive,  
Grandmother, stones are nothing of home  
To that spumiest dove.  
Against both bar and tower the black sea runs.

Никто не зимует теперь в доме.  
Забиты окна,  
На которые она хлеба  
И яблочные пироги студить ставила...  
Но что за дух тут выжил, чья теплится тут судьба,  
Кому до этого дома дело, чьё это горе?  
На этом упрямом пяточке гравия —  
Только обломки, выблеванные морем  
По двору перекатываются под ветром мокрым.

На серых волнах чайки качаются сонно.  
Труд, полный любви, — и весь пропал он.  
От мыса Шерли, крошку за крошкой,  
Отгрызает море мало помалу.  
Она умерла благословенно,  
А я, как прохожая, —  
Мимо обломков, залапанных шквалами  
Моря злобного и криворожего...  
И тонет за Бостоном кровавое солнце.

Из этих иссохших камней, которые ты наполнила  
Неизреченной твоей благодатью  
Щедро, как молоком,  
Я все равно сумею достать её,  
Напоят меня камни...  
Но ещё о том,  
Что эти камни, — должна тебе сказать я, —  
Для голубки белопенной — никакой не дом...

К решеткам и к башне рвутся черные волны.

## A WINTER SHIP

At this wharf there are no grand landings to speak of  
Red and orange barges list and blister  
Shackled to the dock, outmoded, gaudy,  
And apparently indestructible.  
The sea pulses under a skin of oil.

A gull holds his pose on a shanty ridgepole,  
Riding the tide of the wind, steady  
As wood and formal, in a jacket of ashes,  
The whole flat harbor anchored in  
The round of his yellow eye-button.

A blimp swims up like a day-moon or tin  
Cigar over his rink of fishes.  
The prospect is dull as an old etching.  
They are unloading three barrels of little crabs.  
The pier pilings seem about to collapse

And with them that rickety edifice  
Of warehouses, derricks, smokestacks and bridges  
In the distance. All around us the water slips  
And gossips in its loose vernacular,  
Ferrying the smells of dead cod and tar.

## ЗИМНИЙ СЕЙНЕР

В этой гавани больших пирсов почти что нет.  
Море пульсирует под тонкой кожей — это разлита нефть.

Качаются красные и оранжевые баркасы,  
Ниже ватерлинии ободранные до волдырей,  
Прикованные к причалам, старомодные, в ярких красках.

Чайка едва удерживается на хлипкой рее,  
Не качаясь, хоть порывы ветра все злее и злее,  
Она неподвижна — словно одеревенелая

В сером официальном пиджачке,  
И гавань качается на якоре в желтом её зрачке.

Посудина подплывает, как дневная луна белая,  
Скользит над рыбами, словно конькобежец, пируэты делая,  
Унылая, двухмачтовая, будто со старой гравюры.

Три бочки мелких крабов с нее выгружают,  
Настил пирса скрипит, его едва удерживают сваи.

Раскачивается шаткое здание портовой комендатуры,  
Коптильни, лебёдки, складские сараи, серые и хмурые,  
Какие-то мостики вдалеке...

И не замечая стужи,  
Сплетничает на невнятном жаргоне вода,  
Запахи дегтя и дохлой трески притаскивая сюда.

Farther out, the waves will be mouthing icecakes—  
A poor month for park-sleepers and lovers.  
Even our shadows are blue with cold.  
We wanted to see the sun come up  
And are met, instead, by this iceribbed ship,  
  
Bearded and blown, an albatross of frost,  
Relic of tough weather, every winch and stay  
Encased in a glassy pellicle.  
The sun will diminish it soon enough:  
Each wave-tip glitters like a knife.

Для бездомных и влюбленных этот месяц —  
что может быть хуже?

Море за волноломом ледяные осколки кружит,  
Даже наши тени от холода синие — такой мороз!

Мы хотели увидеть, как солнце

из воды подымет рассветный веер,

А вместо зрелища нам достался этот заледенелый сейнер —

Бородатый от инея замерзающий альбатрос:

Словно бы в целлофан завернут

каждый поручень, каждый трос.

Скоро солнце эту плёнку слижет, и пар рассеет,

И всё ещё сильнее закачается, в дымке дрожа...

Вот уже верхушка любой волны блестит, как лезвие ножа.

## OLD LADIES' HOME

Sharded in black, like beetles,  
Frail as antique earthenware  
One breath might shiver to bits,  
The old women creep out here  
To sun on the rocks or prop  
Themselves up against the wall  
Whose stones keep a little heat.

Needles knit in a bird-beaked  
Counterpoint to their voices:  
Sons, daughters, daughters and sons,  
Distant and cold as photos,  
Grandchildren nobody knows.  
Age wears the best black fabric  
Rust-red or green as lichens.

At owl-call the old ghosts flock  
To hustle them off the lawn.  
From beds boxed-in like coffins  
The bonneted ladies grin.  
And Death, that bald-head buzzard,  
Stalls in halls where the lamp wick  
Shortens with each breath drawn.

## ЖЕНСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ

Вроде жуков — все в черном,  
Хрупкие, как старинный фарфор, ну,  
Только дунь — и расколется,  
Выползают старухи  
Посидеть среди серых камней,  
Погреться на солнце,  
Или спинами встать к стене,

Ещё хранящей тепло.  
И в птичье их щебетанье  
Вплетаются, словно уколы иглой,  
Слова: сын, дочка, дочка, сын...  
Как фотокарточки, далекие и холодные,  
Или внуки, которых они совсем не знают...  
То что было черною тканью, вполне добротную,  
Стирает старость, стирает,  
Превращая во что-то ржавое, или болотное.

От крика совы призраки вылетают,  
Старух сгоняя с газона.  
На гробоподобных кроватях  
Ухмыляются старые дамы ближе к ночи,  
А смерть, этот лысый хмырь,  
В коридоре, как в стойле своём, проживает,  
Там, где фитиль лампы с каждым выдохом — всё короче...

## MAGNOLIA SHOALS

Up here among the gull cries  
we stroll through a maze of pale  
red-mottled relics, shells, claws

as if it were summer still.

That season has turned its back.  
Though the green sea gardens stall,

bow, and recover their look  
of the imperishable  
gardens in an antique book

or tapestries on a wall,  
leaves behind us warp and lapse.  
The late month withers, as well.

Below us a white gull keeps  
the weed-slicked shelf for his own,  
hustles other gulls off. Crabs

rove over his field of stone;  
mussels cluster blue as grapes  
his beak brings the harvest in.

The watercolorist grips  
his brush in the stringent air.  
The horizon's bare of ships,

the beach and the rocks are bare.  
He paints a blizzard of gulls,  
wings drumming in the winter.

## МАГНОЛИЕВАЯ ОТМЕЛЬ

Пробираемся лабиринтом  
Среди ракушек и клешней  
Розовых и пятнистых,  
И чайки кричат сильнее...

Может, лето все еще тут?  
Нет, уже повернуло к нам спину,  
Хоть сады под водой и цветут  
Картинкой из книги старинной,  
Или ковром на стене...  
Листья пожухли, как память,  
А белая чайка под нами  
На зеленой и скользкой скале  
Отгоняет своих подружек  
От добычи. И крабы бродят  
По плоскому камню, по лужам,  
Там, где за рядом ряд —  
Мидий тяжелые гроздья  
Синие, как виноград.  
Чайка сонно клюет их,  
Словно бы от безделья,  
И всё это пишет кто-то  
Призрачной акварелью.  
Над пляжем скала пустая,  
И горизонт пустой,  
Лишь буранные крылья чаек  
Хлопают над зимой.

## YADDO: THE GRAND MANOR

Woodsmoke and a distant loudspeaker  
Filter into this clear  
Air, and blur.

The red tomato's in, the green bean;  
The cook lugs a pumpkin  
From the vine

For pies. The fir tree's thick with grackles.  
Gold carp loom in the pools.  
A wasp crawls

Over windfalls to sip cider-juice.  
Guests in the studios  
Muse, compose.

Indoors, Tiffany's phoenix rises  
Above the fireplace;  
Two carved sleighs

Rest on orange plush near the newel post.  
Wood stoves burn warm as toast.  
The late guest

Wakens, mornings, to a cobalt sky,  
A diamond-paned window,  
Zinc-white snow.

## ЯДДО

Запах тлеющих листьев и далекая музыка  
просачиваются в этот звонкий воздух  
и растворяются в нём.

Красные помидоры, зеленые стручки;  
повар срезает тыкву,  
скоро станет она пирогом.

Еловые ветки трещат от тяжести шишек,  
золотые рыбки мелькают в прудах,  
карабкается оса

по бутылке яблочного сока на подоконнике...  
А в комнатах кто-то думает, кто-то пишет,  
и не слышны голоса.

В холле под лестницей на оранжевом коврикe,  
резные сани,  
а на каминной полке сидит

Феникс,  
и словно сухарики трещат дрова  
в чревах кухонных плит.

Поздний гость просыпается утром:  
Небо ярко-синее.  
Снег белый.  
Окна в алмазах инея.

## MUSHROOMS

Overnight, very  
Whitely, discreetly,  
Very quietly

Our toes, our noses  
Take hold on the loam,  
Acquire the air.

Nobody sees us,  
Stops us, betrays us;  
The small grains make room.

Soft fists insist on  
Heaving the needles,  
The leafy bedding,

Even the paving.  
Our hammers, our rams,  
Earless and eyeless,

Perfectly voiceless,  
Widen the crannies,  
Shoulder through holes. We

## ГРИБЫ

Ночью спокойной  
Белою тайной  
Тихою тенью  
Чуть раздвигая  
Почву сырую,  
Лезем на воздух.

Нас не увидят,  
Не обнаружат,  
Не остановят...  
Мягким упорством  
Сдвинем с дороги  
Листья гнилые,  
Старую хвою —  
Даже булыжник  
Сдвинем с дороги...

Мягче подушек  
Наши тараны,  
Слепы и глухи.  
В полном безмолвье  
Высунем плечи  
И распрявимся.

Diet on water,  
On crumbs of shadow,  
Bland-mannered, asking

Little or nothing.  
So many of us!  
So many of us!

We are shelves, we are  
Tables, we are meek,  
We are edible,

Nudgers and shovers  
In spite of ourselves.  
Our kind multiplies:

We shall by morning  
Inherit the earth.  
Our foot's in the door.

Вечно в тени мы,  
И ничего мы  
Вовсе не просим.

Пьём только воду,  
И никого мы  
Не потревожим.

Мало нам надо —  
Нас только много,  
Нас только много...

Скромны и кротки,  
Даже съедобны,  
Лезем и лезем,  
И на поверхность  
Сами себя мы  
Тянем и тянем...

Только однажды  
В некое утро  
Мир станет нашим...

## TWO CAMPERS IN CLOUD COUNTRY (Rock Lake, Canada)

In this country there is neither measure nor balance  
To redress the dominance of rocks and woods,  
The passage, say, of these man-shaming clouds.

No gesture of yours or mine could catch their attention,  
No word make them carry water or fire the kindling  
Like local trolls in the spell of a superior being.

Well, one wearies of the Public Gardens: one wants a vacation  
Where trees and clouds and animals pay no notice;  
Away from the labeled elms, the tame tea-roses.

It took three days driving north to find a cloud  
The polite skies over Boston couldn't possibly accommodate.  
Here on the last frontier of the big, brash spirit

The horizons are too far off to be chummy as uncles;  
The colors assert themselves with a sort of vengeance.  
Each day concludes in a huge splurge of vermilions

## ДВОЕ В СТРАНЕ ОБЛАКОВ (Рок-Лейк, Канада)

В этом краю нечего противопоставить  
Скольжению господствующих над человеком облаков,  
Грозной самодержавности скал и лесов.

Никакие жесты, ни твои, ни мои не в силах заставить  
Их принести воды, или разжечь костер,  
Это тебе не тролли, чтоб слушаться заклинаний!

Ну ладно, утомили нас городские сады и прочий вздор,  
Захотелось туда, где к тебе безразличны  
звери, деревья и облака.

Подальше от подстриженных кустов и гераней,

Подальше от пронумерованных вязов (такая тоска!),  
От чайных роз, ручных, гордящихся наличием ярлыка...  
Вежливое небо над Бостоном нас не сумело принять —

В поисках облаков ехали мы на Север три дня.  
Тут у последней границы Дерзкого Духа Снегов  
Горизонт далеко. Он не ждёт никаких слов,

And night arrives in one gigantic step.  
It is comfortable, for a change, to mean so little.  
These rocks offer no purchase to herbage or people:

They are conceiving a dynasty of perfect cold.  
In a month we'll wonder what plates and forks are for.  
I lean to you, numb as a fossil. Tell me I'm here.

The Pilgrims and Indians might never have happened.  
Planets pulse in the lake like bright amoebas;  
The pines blot our voices up in their lightest sighs.

Around our tent the old simplicities sough  
Sleepily as Lethe, trying to get in.  
We'll wake blank-brained as water in the dawn.

И на общение, как тетушки, не претендует праздно.  
Тут мстительно самоутверждается всякий цвет,  
Каждый вечер хвастает разлившейся киноварью, и нет

После нее ничего: ночь сваливается разом, но —  
Очень уютно, для разнообразия, значить так мало:  
Ведь ни траву, ни людей не заметят эти черные скалы —

Родоначалницы холода, твердящего, что никогда  
Ни поселенцы, ни индейцы не забирались сюда.  
Через месяц слова «тарелка» и «вилка» забудем мы оба.

Я к тебе прижимаюсь — скажи мне, скажи что я здесь!  
В озере бьются планеты, каждая мельче амёбы.  
Молчаливые вздохи сосен поглощают голос, сразу весь!

Первозданные шорохи, подобные Лете,  
Пытаются проникнуть в палатку, сюда...  
Мы проснемся с мозгами, пустыми как вода на рассвете —  
...вода...

## TULIPS

The tulips are too excitable, it is winter here.  
Look how white everything is, how quiet, how snowed-in.  
I am learning peacefulness, lying by myself quietly  
As the light lies on these white walls, this bed, these hands.  
I am nobody; I have nothing to do with explosions.  
I have given my name and my day-clothes up to the nurses  
And my history to the anesthetist and my body to surgeons.

They have propped my head between the pillow and the  
sheet-cuff  
Like an eye between two white lids that will not shut.  
Stupid pupil, it has to take everything in.  
The nurses pass and pass, they are no trouble,  
They pass the way gulls pass inland in their white caps,  
Doing things with their hands, one just the same as another,  
So it is impossible to tell how many there are.

My body is a pebble to them, they tend it as water  
Tends to the pebbles it must run over, smoothing them  
gently.

They bring me numbness in their bright needles, they bring  
me sleep.

Now I have lost myself I am sick of baggage—  
My patent leather overnight case like a black pillbox,  
My husband and child smiling out of the family photo;  
Their smiles catch onto my skin, little smiling hooks.

## ТЮЛЬПАНЫ

Тюльпаны слишком тревожны — а тут зима.  
Смотри как всё бело, заснежено и спокойно...  
Лежу тут одна, обучаюсь внутреннему покою, и сама —  
Никто... Как бел этот свет на стенах, где нет обоев,  
Только белая краска... Так вот и у меня  
Ничего общего с внешним миром.

И руки, и память — всё белое.  
Имя мое, как одежда, которая медсестрам давно отдана,  
Анестезисту — прошлое, а хирургам — тело...

Моя голова уложена между подушкой и пододеяльником,  
Как глаз между веками, которым никак не сомкнуться,  
Медсестры шуршат, незаметно мимо проскальзывая, —  
По крайней мере меня не тревожит их присутствие.  
Как чайки в белых шапочках проскальзывают над землёй,  
Одни и те же движенья проделывая руками.  
Мое тело для них — только камушек, обтекаемый водой,  
И сколько их тут — не в силах уловить память.

Вода набегает на галечник, нежно сглаживая  
неподвижность.

Вот и они приносят мне блестящими иглами сон,  
Теперь, потеряв себя, я устаю от тяжестей лишних:  
От лакированного чемоданчика, похожего на патефон,  
От улыбающихся с фотографии ребенка и мужа,  
Их улыбки впиваются в кожу, больней рыболовных крючков,

I have let things slip, a thirty-year-old cargo boat  
Stubbornly hanging on to my name and address.  
They have swabbed me clear of my loving associations.  
Scared and bare on the green plastic-pillowed trolley  
I watched my teaset, my bureaus of linen, my books  
Sink out of sight, and the water went over my head.  
I am a nun now, I have never been so pure.

I didn't want any flowers, I only wanted  
To lie with my hands turned up and be utterly empty.  
How free it is, you have no idea how free—  
The peacefulness is so big it dazes you,  
And it asks nothing, a name tag, a few trinkets.  
It is what the dead close on, finally; I imagine them  
Shutting their mouths on it, like a Communion tablet.

The tulips are too red in the first place, they hurt me.  
Even through the gift paper I could hear them breathe  
Lightly, through their white swaddlings, like an awful baby.  
Their redness talks to my wound, it corresponds.  
They are subtle: they seem to float, though they weigh me down,  
Upsetting me with their sudden tongues and their color,  
A dozen red lead sinkers round my neck.

Я отпустила все вещи — они улетели наружу,  
С этой тридцатилетней лодки,  
якорями цепляющейся за камни слов,  
Означающих фамилию и адрес. Из меня вычистили все моё:  
И мысли, и любовные связи... Я испуганная и голая.  
Равнодушно смотрю:  
уплывает мой чайный сервиз, мои книги, бельё,  
Тонут, исчезают из глаз, — и вода накрывает мне голову.  
Я совсем как монахиня — я никогда не была так чиста.

Только бы так вот опустошенно —  
(никаких я цветов не хотела!) —  
Лежать, и ладони кверху — свобода и пустота...  
Трудно представить себе, как я свободна — даже от тела.  
Трудно представить, как ошеломляет покой,  
Так он огромен — а ничего не просит!  
Только табличка с фамилией, да несколько пустячков,  
Так, наверно, примиряются умирающие, когда  
им приносят  
Последнее причастие — как облатку, они глотают  
этот покой...

А тюльпаны невыносимо красные, мне от них больно.  
Сквозь бумагу, как сквозь пелёнки, — ребёнок,  
страшный такой  
Дышит, и краснота их непонятно и недовольно  
Разговаривает с моей раной (они одного с ней цвета).  
Летающие, лёгкие, тонкие — и всё-таки душат меня,  
Раздражают внезапностью,  
вокруг горла двенадцать алых камней — и это  
Невыносимо:  
ведь за мной наблюдают языки огня!

Nobody watched me before, now I am watched.  
The tulips turn to me, and the window behind me  
Where once a day the light slowly widens and slowly thins,  
And I see myself, flat, ridiculous, a cut-paper shadow  
Between the eye of the sun and the eyes of the tulips,  
And I have no face, I have wanted to efface myself.  
The vivid tulips eat my oxygen.

Before they came the air was calm enough,  
Coming and going, breath by breath, without any fuss.  
Then the tulips filled it up like a loud noise.  
Now the air snags and eddies round them the way a river  
Snags and eddies round a sunken rust-red engine.  
They concentrate my attention, that was happy  
Playing and resting without committing itself.

The walls, also, seem to be warming themselves.  
The tulips should be behind bars like dangerous animals;  
They are opening like the mouth of some great African cat,  
And I am aware of my heart: it opens and closes  
Its bowl of red blooms out of sheer love of me.  
The water I taste is warm and salt, like the sea,  
And comes from a country far away as health.

Никто никогда раньше так за мной не следил, нет!  
Тюльпаны поворачиваются ко мне... А за мной  
Окно, где раз в день распухает и опадает свет,  
В нем, как в зеркале, я себя вижу плоской, идиотски-  
смешной,  
Как вырезанный из белой бумаги силуэт

Между глазами тюльпанов и глазом солнца...  
У меня нет лица. Так бы себя всю и стереть! Ведь вот —  
Пока их не было — воздух был спокойным и сонным,  
А теперь тюльпаны пожирают мой кислород!  
Раньше вздох за вздохом, ровно, без всякого шума,  
Приходил, уходил — а вот теперь они,  
Заполнили воздух чем-то громким, чем-то безумным.  
И воздух налетает на них, как ветер на высокие пни,

Завихряется, вертится как водоворот, вокруг  
Ржавого красного корпуса потонувшего судна...  
Они притягивают моё вниманье, которое вдруг  
Перестало быть играющим и таким нетрудным,  
Свободным от всех обязанностей... Кажется, что стены  
Тоже раскаляются, всё красней и красней,  
Нет, тюльпанов надо в клетки запирать непременно,  
Как запирают самых опасных зверей!

Леопарды распахивают алые пасти. Я чувствую,  
Как моё сердце раскрывает и закрывает  
Красную чашку цветка — только из сочувствия...  
Пью воду. Теплый привкус морской волны  
наплывает, свежий и солоноватый.  
Он приходит из неизвестной страны,  
Такой же далекой от меня, как здоровье от этой палаты.

## WUTHERING HEIGHTS

The horizons ring me like faggots,  
Tilted and disparate, and always unstable.  
Touched by a match, they might warm me,  
And their fine lines singe  
The air to orange  
Before the distances they pin evaporate,  
Weighting the pale sky with a solid color.  
But they only dissolve and dissolve  
Like a series of promises, as I step forward.

There is no life higher than the grasstops  
Or the hearts of sheep, and the wind  
Pours by like destiny, bending  
Everything in one direction.  
I can feel it trying  
To funnel my heat away.  
If I pay the roots of the heather  
Too close attention, they will invite me  
To whiten my bones among them.

The sheep know where they are,  
Browsing in their dirty wool-clouds,  
Gray as the weather.  
The black slots of their pupils take me in.  
It is like being mailed into space,  
A thin, silly message.  
They stand about in grandmotherly disguise,  
All wig curls and yellow teeth  
And hard, marbly baas.

## ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ

Горизонты, неровные, опрокинутые  
Окружают меня как вязанки хвороста:  
Только чиркнуть спичкой — и можно б согреться!  
Их тонкие линии вот-вот раскалят воздух  
До ярко-оранжевого света.  
Ими скреплённая, даль пустая  
Должна бы испариться, утяжеляя  
Бледное небо. Но горизонты тают,  
Как обещания, пока я шагаю

К ним... Тут жизнь состоит из одних  
Травинок, да овечьих сердец. А ветер  
Льётся как судьба, наклонив  
В одну сторону всё, что есть на свете.  
Он пытается у меня из сердца  
Всё тепло выдуть, всю меня заохладить.  
А стоит внимательно в вереск взглядеться,  
Станет ясно: он хочет  
оплести мои кости и побелить...

Овцы-то знают, где живут! Бесконечные годы  
Эти грязные шерстяные облачка  
Пасутся спокойно, серые, как погода...  
Погружаюсь в черноту овечьего зрачка —  
Я — словно посланное в пространство сообщенье,  
Глупое, как эти животные, обступившие меня,  
Эти переодетые бабушки желтозубые, в париках,  
Густо и жестко мекающие  
над лужами в разъезженных колеях.

I come to wheel ruts, and water  
Limpid as the solitudes  
That flee through my fingers.  
Hollow doorsteps go from grass to grass;  
Lintel and sill have unhinged themselves.  
Of people the air only  
Remembers a few odd syllables.  
It rehearses them meaningly:  
Black stone, black stone.

The sky leans on me, me, the one upright  
Among all horizontals.  
The grass is beating its head distractedly.  
It is too delicate  
For a life in such company;  
Darkness terrifies it.  
Now, in valleys narrow  
And black as purses, the house lights  
Gleam like small change.



## THE MOON AND THE YEW TREE

This is the light of the mind, cold and planetary.  
The trees of the mind are black. The light is blue.  
The grasses unload their griefs on my feet as if I were God,  
Prickling my ankles and murmuring of their humility.  
Fumy, spiritous mists inhabit this place  
Separated from my house by a row of headstones.  
I simply cannot see where there is to get to.

The moon is no door. It is a face in its own right,  
White as a knuckle and terribly upset.  
It drags the sea after it like a dark crime; it is quiet  
With the O-gape of complete despair. I live here.  
Twice on Sunday, the bells startle the sky –  
Eight great tongues affirming the Resurrection.  
At the end, they soberly bong out their names.

The yew tree points up. It has a Gothic shape.  
The eyes lift after it and find the moon.  
The moon is my mother. She is not sweet like Mary.  
Her blue garments unloose small bats and owls.  
How I would like to believe in tenderness –  
The face of the effigy, gentled by candles,  
Bending, on me in particular, its mild eyes.

## ЛУНА И ТИСС

Это свет рассудка. Космический. Голубой.  
Черные деревья рассудка залиты холодной судьбой.  
Травы, слагая свои горести к моим ногам,  
Колют лодыжки, поклоняются мне, как своим богам.  
Дымные, пьянящие испарения тишины  
От моего ненадёжного дома отделены  
Только полосками надгробных камней, одна другой ниже,  
Где выход отсюда, что будет за ним — я просто не вижу...

Луна — не дверь, Это лицо.  
Горестное, тревожное, белое...  
Луна утаскивает море, спокойно своё черное дело делая,  
И рот её как безнадежное «О».

Я живу тут.  
Колокола, потрясая небо по воскресеньям —  
Восемь огромных языков (а я одна!) —  
Дважды в день объявляют о Воскресенье,  
И деловито вызванивают свои имена.

Готический тисс остро глядит в вышину.  
Взгляд, по нему скользя, обнаруживает луну.  
Мачеха моя луна,  
Она не Мария, она не бывает нежна,  
Летучих мышей и сов выпускают её голубые одежды,  
Как бы хотелось мне отвернуться от них — к нежности  
Лица на фреске, смягченного колебаньем свечей,  
Лица, склоняющего ко мне взор кротких очей.

I have fallen a long way. Clouds are flowering  
Blue and mystical over the face of the stars.  
Inside the church, the saints will be all blue,  
Floating on their delicate feet over the cold pews,  
Their hands and faces stiff with holiness.  
The moon sees nothing of this. She is bald and wild.  
And the message of the yew tree is blackness—blackness  
and silence.

Я, наверное, свалилась оттуда. Где звёзды. Издалека.  
Голубым и таинственным светом цветут облака.  
Тут в церкви святые холодно-невесомы при свете луны,  
Их руки и лица от святости закаменели,  
    скамейки внизу холодны.  
Луна сюда не глядит,  
Пустынная в пустоте.  
И тисс твердит  
Только о молчании и черноте.

## MIRROR

I am silver and exact. I have no preconceptions.  
Whatever I see I swallow immediately  
Just as it is, unmisted by love or dislike.  
I am not cruel, only truthful—  
The eye of a little god, four-cornered.  
Most of the time I meditate on the opposite wall.  
It is pink, with speckles. I have looked at it so long  
I think it is a part of my heart. But it flickers.  
Faces and darkness separate us over and over.

Now I am a lake. A woman bends over me,  
Searching my reaches for what she really is.  
Then she turns to those liars, the candles or the moon.  
I see her back, and reflect it faithfully.  
She rewards me with tears and an agitation of hands.  
I am important to her. She comes and goes.  
Each morning it is her face that replaces the darkness.  
In me she has drowned a young girl, and in me an old  
woman  
Rises toward her day after day, like a terrible fish.

## ЗЕРКАЛО

Я точное и серебристое,  
и не знаю, что значит предвзятое  
мнение. Ни любовью, ни отвращеньем  
ничего не замутнив,  
Все, что вижу — немедленно проглатываю,  
Мой взгляд не жесток: он просто правдив.

Я глаз прямоугольного маленького божка.  
Почти все время  
противоположная стена в меня глядится.  
Она в розовых пятнах.  
Я долго смотрю на неё, пока  
Стена не покажется мне  
моей собственной души частицей.  
Но порой отделяют её от меня то темнота, то лица.

И вот я — озеро. Наклоняется женщина надо мной.  
Она ищет свою сущность в моей глубине,  
А потом отворачивается к этим лгунам,  
к свечкам или к луне.  
Но и тут я честно отражаю её,  
повернутую ко мне спиной.  
Нервными жестами и слезами она награждает меня,  
Для неё так много я значу —  
то приходит она, то уходит,  
Её лицо сменяет темноту в самом начале дня.

Она во мне утопила девушку, и старуха,  
с каждым днем все ясней,  
Выплывает теперь из меня,  
Как жуткая рыба — прямо к ней.

## CROSSING THE WATER

Black lake, black boat, two black, cut-paper people.  
Where do the black trees go that drink here?  
Their shadows must cover Canada.

A little light is filtering from the water flowers.  
Their leaves do not wish us to hurry:  
They are round and flat and full of dark advice.

Cold worlds shake from the oar.  
The spirit of blackness is in us, it is in the fishes.  
A snag is lifting a valedictory, pale hand;

Stars open among the lilies.  
Are you not blinded by such expressionless sirens?  
This is the silence of astounded souls.

## ЧЕРЕЗ ОЗЕРО

Черное озеро. Черная лодка.  
Наши два силуэта  
Вырезаны из черной бумаги.  
Черные деревья пьют на ходу из этого  
Озера.. Их тени — уже в Канаде.

Легкий свет сочится из белых кувшинок.  
Круглые листья полны невнятного смысла,  
Им не хочется, чтобы мы спешили —  
И мы поднимаем вёсла,

С весла ледяные планеты  
Скатываются неизвестно куда...  
Дух черноты и в нас, и в рыбах, и в этой  
Коряге, которая прощается навсегда...

Между кувшинками  
Распахиваются звезды.  
Не ослеп ли ты  
от свечения этих молчащих русалок,  
этих душ, изумлённых нашествием темноты?

## BY CANDLELIGHT

This is winter, this is night, small love —  
A sort of black horsehair,  
A rough, dumb country stuff  
Steeled with the sheen  
Of what green stars can make it to our gate.  
I hold you on my arm.  
It is very late.  
The dull bells tongue the hour.  
The mirror floats us at one candle power.

This is the fluid in which we meet each other,  
This haloey radiance that seems to breathe  
And lets our shadows wither  
Only to blow  
Them huge again, violent giants on the wall.  
One match scratch makes you real.  
At first the candle will not bloom at all—  
It snuffs its bud  
To almost nothing, to a dull blue dud.

## СВЕЧА НА СТОЛЕ...

Ночь, зима. Ни скрипа, ни голоса.  
В деревенском домишке  
Ты лежишь на моей руке,  
А диванчик жесткий и грубый,  
Вроде бы из конского волоса.

Мы с тобою освещены  
Рассеянным светом стальным,  
Льют его зеленые звезды,  
Но от них ещё гуще мгла...  
Монотонные колокола  
Повторяют нам: «поздно, поздно...»  
И свеча — одна на столе —  
Нас затягивает в зеркала.

В свете этих текучих огней  
Мы друг друга находим опять,  
Сумрак дышит — светлей, темней,  
Чтобы нашим теням увяты,  
Вдруг он снова раздует их,  
И огромные на стене  
Пляшут тени гигантов чужих  
и неясных... Но стоит мне  
Чиркнуть спичкой раз или два —  
Расцветает бутон свечи  
От ничто до едва-едва...

I hold my breath until you creak to life,  
Balled hedgehog,  
Small and cross. The yellow knife  
Grows tall. You clutch your bars.  
My singing makes you roar.  
I rock you like a boat  
Across the Indian carpet, the cold floor,  
While the brass man  
Kneels, back bent, as best he can

Hefting his white pillar with the light  
That keeps the sky at bay,  
The sack of black! It is everywhere, tight, tight!  
He is yours, the little brassy Atlas—  
Poor heirloom, all you have,  
At his heels a pile of five brass cannonballs,  
No child, no wife.  
Five balls! Five bright brass balls!  
To juggle with, my love, when the sky falls.

Задержи дыханье, молчи!  
Вот ты снова реальный, ты ожил,  
Недовольный свернувшийся ежик!  
В зеркалах желтых лезвий лучи...  
В унисон с пеньем моим  
И твоё горло рычит,  
Я как лодка тебя качаю...  
Наше море — индийский ковер,  
На полу холодном, дощатом.

Бронзовый подсвечник — атлант  
На столе пригнулся в молчанье.  
Белая колонна свечи  
На плечах у него торчит,  
Её капитель как пламя —  
Значит небо не упадёт...  
Крепче, крепче меня сожми,  
Не отдай меня темноте.  
Пусть он небо удержит, тот  
Бронзовый маленький, и  
Пять шаров у него под ногами.  
Вот и всё достоянье твоё.  
Ни ребенка у тебя, ни жены...  
Пять шаров — зачем они нужны?  
А! Вот:  
Чтоб жонглировать этими шарами,  
Когда свеча догорит и небосвод упадёт...

## THE COURIERS

The word of a snail on the plate of a leaf?

It is not mine. Do not accept it.

Acetic acid in a sealed tin?

Do not accept it. It is not genuine.

A ring of gold with the sun in it?

Lies. Lies and a grief.

Frost on a leaf, the immaculate  
Cauldron, talking and crackling

All to itself on the top of each  
Of nine black Alps.

A disturbance in mirrors,  
The sea shattering its gray one—

Love, love, my season.

## ПОЧТА

Улиточье слово на блюде листа?

Это не от меня.

Не принимай. Забудь об этом вздоре.

Уксус в запечатанной бутылке?

И это не принимай — фальшивка!

Золотое кольцо и солнце в нём?

А это — ложь. Ложь и горе.

Иней на листе чист.

Котелок о чём-то бурчит

Себе под нос, на каждой

Из девяти гор... Да —

Зеркала встревожены, смещены отраженья,

И море — вдребезги свой серый цвет...

Любовь, любовь, — мое время года.

## MARY'S SONG

The Sunday lamb cracks in its fat.  
The fat  
Sacrifices its opacity. . . .

A window, holy gold.  
The fire makes it precious,  
The same fire

Melting the tallow heretics,  
Ousting the Jews.  
Their thick palls float

Over the cicatrix of Poland, burnt-out  
Germany.  
They do not die.

Gray birds obsess my heart,  
Mouth-ash, ash of eye.  
They settle. On the high

Precipice  
That emptied one man into space  
The ovens glowed like heavens, incandescent.

It is a heart,  
This holocaust I walk in,  
O golden child the world will kill and eat.

## ПЕСНЯ МАРИЙ

Пасхальный ягненок потрескивает в жиру,  
Жертвенный жир всё прозрачнее на жару...

Окно —  
Солнечное окно —  
Сотворено  
Тем же огнём.  
Бледные еретики сгорают в нём,  
И ветер его раздувает,  
Сдувает евреев...  
Их одежды широкие в небе реют  
Над изрубленной Польшей,  
Над сожженной Германией...  
Летят и не умирают.

Стаи  
Пепельных птиц мне сердце терзают.  
Пепел в глазах,  
И рот мой забит пеплом.  
Эти птицы садятся у самого края

Бездны,  
Которая выкинула в пространство  
Всего одного человека...

Печи,  
Раскаленные, как небосвод.

Сердце —  
По нему я ступаю и знаю,  
Что солнечного младенца  
Мир убьёт и сожрёт...

## THE MUNICH MANNEQUINS

Perfection is terrible, it cannot have children.  
Cold as snow breath, it tamps the womb

Where the yew trees blow like hydras,  
The tree of life and the tree of life

Unloosing their moons, month after month, to no purpose.  
The blood flood is the flood of love,

The absolute sacrifice.  
It means: no more idols but me,

Me and you.  
So, in their sulfur loveliness, in their smiles

These mannequins lean tonight  
In Munich, morgue between Paris and Rome,

Naked and bald in their furs,  
Orange lollies on silver sticks,

Intolerable, without mind.  
The snow drops its pieces of darkness,

Nobody's about. In the hotels  
Hands will be opening doors and setting

## МЮНХЕНСКИЕ МАНЕКЕНЫ

Совершенство жутко: Оно бесплодно —  
Снежным дыханьем забиты пути рожденья.

Едва отрастают побеги тиссов,  
Их тут же срезают, как головы гидры.

Но месяц за месяцем, побег за побегом —  
Толкают соки поток бесцельный,

Движенье крови — любви движенье.  
И требует жертвы. Совсем безоглядной.

Нет мол, кроме меня, кумиров!  
Ты и я... Манекены в витринах

Желтозеленого, серного цвета.  
Тела застыли в нелепых позах...

Их заколдованные улыбки...  
Мюнхен? Морг меж Парижем и Римом.

Голые, лысые манекены  
(Мехами едва нагота прикрыта).

Ржавь леденцов на хромо́вых палках —  
Невыносима. Без тени мысли.

Down shoes for a polish of carbon  
Into which broad toes will go tomorrow.

O the domesticity of these windows,  
The baby lace, the green-leaved confectionery,

The thick Germans slumbering in their bottomless Stolz.

And the black phones on hooks

Glittering

Glittering and digesting

Voicelessness. The snow has no voice.

Тьма сыплется где-то между снежинок.  
И никого вокруг. А в отелях

Долго ещё будут чьи-то руки  
За дверь выставлять башмаки — почистить,

И утром в них широченные ноги...  
А жизнь в домах — занавески, окна,

Кружавчики детские, да печенье...  
Весомые немцы напыщенно дрыхнут.

Их черные телефоны на стенках  
Мрачно сверкают и переваривают  
Безголосость.

Снег ведь всегда беззвучен.

## MYSTIC

The air is a mill of hooks—  
Questions without answer,  
Glittering and drunk as flies  
Whose kiss stings unbearably  
In the fetid wombs of black air under pines in summer.

I remember

The dead smell of sun on wood cabins,  
The stiffness of sails, the long salt winding sheets.  
Once one has seen God, what is the remedy?  
Once one has been seized up

Without a part left over,  
Not a toe, not a finger, and used,  
Used utterly, in the sun's conflagrations, the stains  
That lengthen from ancient cathedrals  
What is the remedy?

The pill of the Communion tablet,  
The walking beside still water? Memory?  
Or picking up the bright pieces  
Of Christ in the faces of rodents,  
The tame flower-nibblers, the ones

## МИСТИЧЕСКОЕ

Воздух фабрикует крючки.  
Вопросы. И все — без ответов.  
Блестящие, пьяные, как мухи,  
Поцелуи которых жалят невыносимо  
В глубинах черного воздуха под соснами летом.

Я помню  
Мертвый запах солнца в дощатых каютах,  
Жесткость парусов —  
Соленых, длинных, натянутых простынь...  
Если хоть раз ты увидел Бога —  
Всё, что потом — уже неизлечимо.  
Если тебя вот так, целиком захватило, — просто

Так, что не осталось ни крохи;  
Ну чем излечиться,  
Если на асфальте у соборов старых  
Извели тебя, утопили  
В солнечных многоцветных пожарах?

Что — лекарство? Облатка причастия?  
Или прогулка  
Вдоль тихой воды?  
Или просто память?  
Или черты Христа, по одной,  
Высмотреть в лицах полевых зверюшек,  
Почти ручных, питающихся цветами?

Whose hopes are so low they are comfortable—  
The humpback in his small, washed cottage  
Under the spokes of the clematis.  
Is there no great love, only tenderness?  
Does the sea

Remember the walker upon it?  
Meaning leaks from the molecules.  
The chimneys of the city breathe, the window sweats,  
The children leap in their cots.  
The sun blooms, it is a geranium.

The heart has not stopped.

Так малы их надежды, что им уютно,  
Как гному, в его умытом домишке  
Под листьями вьюнков. Но тогда  
Значит — не бывает любви, а только нежность...  
А как же — море? Или все-таки хоть вода

Помнит Того, кто по ней ходил?  
Но каждая молекула протекает...  
Память вытекла.  
Трубы города дышат, потеет окно.  
Дети барахтаются в кроватках.  
А солнце — только цветок герани.

А сердце?  
Ведь всё-таки не остановилось оно!

## WORDS

Axes

After whose stroke the wood rings,  
And the echoes! Echoes traveling  
Off from the center like horses.

The sap

Wells like tears, like the  
Water striving  
To re-establish its mirror  
Over the rock

That drops and turns,  
A white skull,  
Eaten by weedy greens.

Years later I

Encounter them on the road—

Words dry and riderless,

The indefatigable hoof-taps.

While

From the bottom of the pool, fixed stars  
Govern a life.

## СЛОВА

Удары  
Топоров — и деревья звенят все сильней.  
Эхо за эхом —  
Разбегается в стороны топот коней.

Сок сосен — как слезы,  
Он хлещет уже водопадом,  
Чтобы озеро скрыло скалы,  
И снова зеркалом стало.  
А рядом —

Белый череп когдатошней жизни.  
Зелёными сорняками  
Его заплетает трава...

Через годы и годы  
На дороге встречаю всё те же слова,

Но они постарели...  
Вроде так же копыта стучат,  
И разносится топот, совсем как тогда...  
А на самом деле  
Эту жизнь направляют  
Неподвижные звезды со дна пруда.

## CONTUSION

Color floods to the spot, dull purple.  
The rest of the body is all washed out,  
The color of pearl.

In a pit of rock  
The sea sucks obsessively,  
One hollow the whole sea's pivot.

The size of a fly,  
The doom mark  
Crawls down the wall.

The heart shuts,  
The sea slides back,  
The mirrors are sheeted.

## СИНЯК

Синева приливает к лиловому пятну.  
Остальное тело  
Монотонно-жемчужно.

Море втягивается, вертясь оголтело,  
Сквозь дыру в скале  
И одержимо выплевывается — не нужно.

Знаменье судьбы  
По стене сползло,  
Как муха мелкое,

Сердце сжалось.  
Море отлило.  
Завешено зеркало...

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Элен Кассель

Иосиф Бродский считал Сильвию Плат одним из лучших англоязычных поэтов 20 века. Практически только поэтому ее имя стало известно русскому читателю. Хотя по-русски ее стихи и мелькали в антологиях, а потом вышла и книга. Но мне кажется, что поэзию Сильвии Плат еще не прочли и не оценили по-настоящему не только в России, но и в странах английского языка, где ее заслонил Тед Хьюз, ее муж — поэт, на мой взгляд, более слабый, во всяком случае, более обычный. Когда-то нечто подобное произошло с Ахматовой и Гумилевым. Есть сходство в этих двух парах: и разница талантов, когда женщина — куда значительнее поэт, чем её муж, и то, что при этом муж претендует какое-то время на роль учителя.

Сильвия Плат писала всего семь лет, с 1956 по 1963 г. Но в полном собрании ее стихов — изд. 1992 года — 224 стихотворения в основном корпусе книги! (И еще с полсотни ранних, «юношеских» стихов.)

Еще будучи аспиранткой в Кембридже, в июне 1956 г., она вышла замуж за Теда Хьюза, тогда тоже начинающего поэта. Жили они то в Англии, то в Америке, порой преподавали в университете, порой жили на литературные стипендии, или еще по-всякому подрабатывали. Вполне естественная жизнь для людей, которым исполнилось двадцать в середине 50-х годов. Этому поколению удалось прожить юность, полную разнообразных надежд, когда казалось, что счастливая осмысленная жизнь — вот она, только руку протяни... И когда у Сильвии Плат читаешь стихи об артистической колонии в Яддо, остро чувствуешь эту юность, полную надежд, эту повседневную радость. В стихах у нее есть еще одна «странность»: в них все время слышится соучастник-собеседник. И этот соучастник-собеседник — всегда ее муж Тед Хьюз.

Они разошлись в конце 1962 года. А в начале 1963-го Сильвия Плат покончила с собой.

Мне не хочется подробнее говорить о биографии Сильвии Плат. Она в ее стихах. После чтения их с неизбежностью возникает ощущение близкого личного знакомства.

Толчком для этой книги послужило желание Василия Бетаки переделать несколько своих старых переводов, сделанных почти двадцать лет назад по заказу редактора литературных передач Би-би-си для радиопередачи о Сильвии Плат. Переводы были сделаны тем самым «русским верлибром», который, как правило, и есть «проза, да и дурная», и поэтому никак не передавали обаяния и колдовства подлинника, хотя и из них была видна крайняя необычность С.Плат. И вот по прошествии времени В.Бетаки захотелось эти несколько старых переводов переделать по совсем иному принципу. А в результате получилась целая книжка.

Всю осень 1999-го мы с Бетаки читали Сильвию Плат, и все больше погружались, все больше влюблялись в нее. Сейчас мне кажется, что это — одно из главных событий, произошедших со мной той осенью. Я совершенно сжилась с ее поэзией. В нее входишь постепенно, и чем больше читаешь, тем больше не оторваться: перелистываю книгу, и о каждом стихотворении хочется что-то сказать...

Вот «Wuthering heights» — продутые ветром йоркширские холмы. Я написала эти несколько слов, а перед глазами — холмы на закате, пожалуй, увиденные откуда-то сверху, прозрачный воздух, сухая трава. Мне уже этого не забыть, как музыкальную фразу, с которой сроднился и которую можно вызвать из памяти в любое мгновение. И вот из этих холмов в вереске растет вселенскость, галактичность, но сами холмы остаются живыми, настоящими, очень любимыми, как любимо любое мгновенье, о котором она пишет. Вообще одна из основных сущностей «поэзии вообще» выражена у нее предельно, всё у неё — «Остановись, мгновенье». Страх не запомнить, не унести с собой, в себе. Страх несуществования, преодоленный этой остановкой мгнове-

ния. Пейзажи, пейзажи... А через них утверждение собственного существования, настоящего на острейшей любви к миру. Редчайшая способность к бессмертию через увиденное, к вечности — через мгновенье. Вот я возвращаюсь к «Wuthering heights». Холмы, закат — и чувство, что стоит лечь в этот вереск, и не встанешь, сольешься с ним белыми косточками. И из каждой лужи глядит вечность. Потом темнеет, и огни в долинах — медяки на черном бархатном дне кошелька вселенной. И звезды ведь тоже медяки в этом кошельке.

И уже в другом стихотворении — вечерний свет на холмах — свет Грааля. И ни капли напыщенности или приподнятости, просто редчайшая интимность. Золотой неподвижный август — опять я вижу этот стеклянный купол неба, это золото недвижимого света. И называется стихотворение — «Мидас». Греческий царь все превращал в золото, Сильвия Плат — в стихи.

Вот странное чувство: у нее очень много трагических стихов. Очень много о смерти; и вот, при всем при этом, она для меня — невероятно гармоничный поэт. Все, чего она коснулась, пронизано любовью. Она пишет о старом бабушкином доме, на который наваливается «море неряшливое», говорит, как достает она любовь из этих камней, и возникает впечатление, что она вообще отовсюду достает любовь. Ей удаются стихи и о «женской богадельне», и о женщинах, чинящих сети в крошечном приморском городке Новой Англии... А когда читаешь это стихотворение о рыбачках, совершенно естественное, без капли выпренности, то вдруг оказывается, что женщины эти — античные парки. Мотив рока возникает за текстом. И тут, наверно, ярко проявляется одна из особенностей Сильвии Плат — постоянное укрупнение и осмысление повседневности. В мире Сильвии Плат всё увиденное значительно: любая картина становится новой клеткой личности. И самый большой страх — потерять, не успеть впитать убегающую картину. Забытое умирает, а вместе с забытым умираешь и ты сам. Острота восприятия каждого мгновения и каждого впечатления — гарантия самого существования поэта, подтверждение бытия личности.

Совершенно удивительно, сколько разных, с трудом совместимых литературных реминисценций вызывает у русского читателя ее поэзия.

Пастернаковский пантеизм — этот мир, в котором деревья равнозначны человеку, в котором у древних замшелых камней есть душа, притом не романтическая, не аллегорическая. Просто наличие души у камней, у деревьев столь же естественно, как и у нас. И совершенно естественно стремиться к тому, чтобы деревья приняли тебя в свой круг, поняли.

А безудержность ее метафор и, порой, ритмическая ткань — тянут к Маяковскому.

Дневниковость каждого описанного мига, постоянное, ежесекундное осмысление мира, рефлексия и полное отсутствие котурнов напоминают о Бродском. Так же, как Бродского, торопливые ритмы века не ведут ее за собой, а наоборот — вызывают желание уравновесить их медленно льющейся медитативной и в то же время предельно напряженной стихией стихотворного потока. Стихи ее — тоже сплошной поток, и когда читаешь их подряд, возникает ощущение очень интимного знакомства с автором.

Мне кажется, переводы в этом сборнике очень удались, и Сильвия Плат возникла по-русски удивительно цельным поэтом. Так естественно войдут в русскую поэзию стынущие на ветру бретонские блины, иссиня-черные ягоды ежевики, а за ними сверкающее море, еле слышный среди водяных лилий плеск весел на совершенно неподвижном озере...

И в заключение — о том каков в переводах принцип передачи авторской стиховой манеры.

За редчайшими исключениями, как можно утверждать по опыту уже всего XX века, русский верлибр в чистом виде (т.е. и без рифм, и без ритмического чередования ударений) *не состоялся*. Как правило, верлибром считается у нас (да и на деле оказывается) инверсированная без причин проза, нарезанная на строки (причём чаще всего отрезают просто по концам фраз).

Пришедший к нам с переводами, этот «верлибр» стал в шестидесятых годах появляться и в оригинальной русской поэзии, хотя ничего не только значительного, но и просто хорошего не

дал (несколько редких удавшихся попыток верлибра еще в начале века, в том числе и три-четыре стихотворения всегда глубоко мелодичного А.Блока можно тут и не считать).

Произошло все это потому, что некритический подход со стороны многих переводчиков поэзии к глубиннейшему различию между английским и русским стихом и вообще между самими языками позволил очень внешнее копирование формы, по-русски обернувшейся бесформенностью. Эта бесформенность вслед за переводами попыталась обосноваться и в оригинальном русском стихе. (См. сборник «Время Икс. Современный русский свободный стих». М., 1989, в котором не случайно, видимо, из почти двадцати авторов нет ни одного маломальски известного имени.)

Говоря же об английском верлибре, мы чаще всего забываем, что отсутствие резко ощутимой рифмы там компенсируется с лихвой такой *густотой* аллитераций и ассонансов, а также приблизительных рифмоидов, что легко можно себе представить целые длинные стихотворения, построенные главным образом на внутрисклонной звукописи не менее густой, чем пресловутое пушкинское «шипенье пенистых бокалов». Такие стихи и существуют по-английски еще со времен раннего средневековья, благодаря вот этому имманентному свойству английского языка, намного более, чем русский, звукоподражательного. По-русски же, за сравнительной бедностью возможностей звукописи, верлибр, заимствованный довольно-таки бездумно и поверхностно, не звучит. Он беден и предельно прозаичен, даже при фразовых параллелизмах.

Русский стих, видимо, вообще перестаёт быть стихом при *одновременном* отсутствии и ритма, и рифмы. *Хотя бы один* из этих двух факторов необходим: либо мы имеем *ритмический* белый стих, либо стих *рифмованный*, пусть даже с самыми раскачанными, почти исчезающими ритмами.

Вполне вероятно, что для русского стиха рифма значительно важнее, чем ритм. Мы знаем (и отнюдь не только у Маяковского) множество самых различных стихов с очень вольным, почти исчезающим ритмом, построенных только или почти только на

рифмовке, тогда как, наоборот, белый стих у нас весьма однообразен: традиционно это почти всегда — пятистопный ямб, ну и еще гекзаметр (как правило, только в переводах, введенный Н.Гнедичем и В.Жуковским).

Стих же с самыми незаметными, или часто меняющимися, а то и вовсе не организованными ритмами, всё же будет стихом по-русски, если только рифмовка подчинит его себе. Вот это-то и есть, видимо, наилучший *русский эквивалент свободного стиха*.

В последние два десятилетия именно такой стих, организованный в основном, или даже *только* рифмой, стал иногда применяться при переводах современной поэзии с английского. Отдельные пока примеры в переводе отдельных стихотворений, не рифмованных в подлиннике, но обретших рифму по-русски, убеждают в перспективности этого нового подхода к переводам английских верлибров. Примеры: перевод некоторых стихотворений Т.С.Элиота (Андрей Сергеев), или Дилана Томаса (Георгий Бен), ну и большая часть стихов в предлагаемой книге. У Сильвии Плат три четверти стихов — нерифмованные верлибры, но исключительно богатые звукописью, что по-русски и компенсируется введением рифм, зачастую ассонансных, консонансных, а порой и рифмоидов и прочих неклассических созвучий, широко применяемых в русском стихе второй половины столетия. Там же, где стих и в подлиннике рифмованный, но расположение рифм не регулярно, переводчик в этой нерегулярности, как правило, следует за автором. (Естественно, регулярная рифмовка и тем более классическая строфика — катрены, терцины, сонет и т.п. — в переводах неуклонно сохранены.)

## CONTENTS

Southern Sunrise .....	4
Prospect .....	6
Departure .....	8
The Great Carbuncle .....	10
Yadwigha, on a Red Couch, Among Lilies .....	14
Lorelei .....	18
In Midas' Country .....	22
Child's Park Stones .....	24
Point Shirley .....	28
A Winter Ship .....	32
Old Ladies' Home .....	36
Magnolia Shoals .....	38
Yaddo: The Grand Manor .....	40
Mushrooms .....	42
Two Campers in Cloud Country .....	46
Tulips .....	50
Wuthering Heights .....	56
The Moon and the Yew Tree .....	60
Mirror .....	64
Crossing the Water .....	66
By Candlelight .....	68
The Couriers .....	72
Mary's Song .....	74
The Munich Mannequins .....	76
Mystic .....	80
Words .....	84
Contusion .....	86

## СОДЕРЖАНИЕ

Южный рассвет .....	5
Пейзаж .....	7
Отъезд .....	9
Грааль .....	11
Ядвига на красной кушетке среди лилий .....	15
Рейнские русалки .....	19
В царстве Мидаса .....	23
Камни Чайлдс-парка .....	25
Мыс Шерли .....	29
Зимний сейнер .....	33
Женская богадельня .....	37
Магнолиевая отмель .....	39
Яддо .....	41
Грибы .....	43
Двое в стране облаков .....	47
Тюльпаны .....	51
Грозовой перевал .....	57
Луна и тисс .....	61
Зеркало .....	65
Через озеро .....	67
Свеча на столе.. ..	69
Почта .....	73
Песня Марии .....	75
Мюнхенские манекены .....	77
Мистическое .....	81
Слова .....	85
Синяк .....	87
Послесловие Элен Кассель .....	88



# *Сильвия Плат* **Стихи**

*В переводе Василия Бетаки  
и в английском оригинале*

ISBN 5-8159-0085-0



9 785815 900851

*Художник*

**Алексей Кокорекин**

*Верстка*

**Кирилл Лачугин**

Издатель Захаров

Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 года  
Адрес: 103104, Москва, Сытинский тупик, 6-2  
(рядом с Пушкинской площадью)

Телефон: 203-0382

Директор: Ирина Евгеньевна Богат

Подписано в печать 12.04.2000. Формат 70x100/32.  
Гарнитура Петербург. Печать офсетная. Бумага ВХИ.  
Усл. печ. л. 3,87. Тираж 1000 экз. Изд. № 85. Заказ № 208.

Отпечатано с готовых диапозитивов  
на ГИПП «Уральский рабочий»,  
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.



ЗАХАРОВ